

# Письмо

По имэйлу — письмо.  
Имярек не откроет письма.  
Приблудилось само  
и в бессонницу сводит с ума.

Бесконечный пролет,  
сколько попусту мышь ни мурыжь.  
Лед созвездий пролегал  
между ближними скатами крыш.

Не оттуда ли весть?  
Не туда ли незримая нить?  
Если муторно здесь —  
значит, следует клик повторить.

Да откликнется тьма!  
А куда ей деваться к утру,  
как не выдать письма  
про нелепицу и мишуру.

Про ничтожность удач  
и про их роковой календарь  
(не погребуй, первач,  
да еще раз по мышке ударь).

И проступит сквозь дым  
в непроглядных прогалах зари  
кратким пламенем злым  
«Повтори, сумасброд, повтори».

И опять растворит  
на рябом мониторе окна  
весь небесный карбид  
непомерная глазу страна.



ситро на запивку картошка рагу  
окурки дымят в новогоднем снегу  
отец гоношится с гитарой

замнач секретаршу снегуркой одел  
за всю уминает отцовский отдел  
пустой заставляется тарой

у нас беззатейно и тесно в гостях  
зачем-то над окнами вывешен стяг  
тусуются белые мухи

идут анекдоты ну полный улет  
с надрывом взавправдашним дядя поет  
про чьи-то сердечные муки

и телек рекорд и крутилка аккорд  
и первый полет и рекордный окот  
мурыжатся в тамошней ступе

детсадовый праздник и баба-яга  
а после до дому и вся недолга  
пою с итээрами вкупе

ночной нескончаемый вкрадчивый снег  
мучительно потно и дымно во сне  
о лакомых планах на лето

какая в июле ужалит оса  
по свежей тоске отпускного отца  
и море заплещется где-то

магнолии влажным огнем расцветут  
пломбир разойдется по небу и тут  
пора на прогулочный катер

и станет смелей уменьшаться земля  
и все на земле мне ля-ля тополя  
пока эта лодочка катит



если глянуть искоса и кратко  
обернувшись не из-за чего  
растворится горькая облатка  
в кровь перемещая вещество

и тогда припомнит вполнакала  
нехотя ожившая душа

через город речка протекала  
подо льдом от холода дрожа

самогон варили на продажу  
и пекли на маслену блины  
и у недоростков патронтажу  
при обмене не было цены

опершись на ржавые перила  
по обыкновенью под хмельком  
старость говорливая курила  
наслаждаясь в лунке поплавком

и воздвигнув уличную елку  
в гости из гостей переходя  
участковый прыскал втихомолку  
возле изваяния вождя

сопляки косили под колядки  
вдруг да разживешься с полпинка  
чтобы выйти гоголем на блядки  
у дворов где виделась река

льдистая в промоинах немалых  
черной крови времени полна  
и в излуках как в инициалах  
проступали наши имена



Набухший оттепелью Воронеж  
с паром над водосточными решетками,  
выхлопные газы февральского вчера  
из распахнутой форточкой шефа ЛИТО,  
грузного и хвастливого,  
на восьмом десятке помнящего лысого Прасолова  
со свежей странгуляционной бороздой,  
дурашку Мелехина, летящего вниз головой  
на асфальт ближнего Подмосковья,  
Жигулина, в обнимку с палочкой Коха  
после ЦДЛовского застолья.  
Чавкающая грязь у ларька, где портвейн дешевле,  
призрачные в водосточном пару  
менты с потными собаками Баскервилей,  
задохнувшийся от влажных выхлопов Ленин  
с кепкой, зажатой в горсти,  
словно жалкая детская медь,  
из последних сил тычущий в сырой вокзал,  
где в двадцать один десять московский скорый  
перережет дымящиеся, как мокрые пепелища,  
канализационные ручьи

и поплывет мимо теплостанции первых пятилеток,  
темного тепловозоремонтного завода,  
булькающих АГВ шпанских пригородных поселков  
за тяжким предвесенним маревом,  
безвозвратно густеющим  
по голым садам недавнего прошлого.



Он приговаривает: «Ерунда».  
И расцветает над ним звезда,  
зыбкая как вода.

«Все, — сообщает он, — ничего.  
За исключением одного —  
страшно всего.

Зыбкой звезды в кочевой ночи.  
Двери, где стопорятся ключи.  
Сна, что ищи-свищи.

Право, причина не знаю где —  
будто ключи глубоко в воде —  
отблески их везде».

Звездная пыль в никуда спешит,  
словно течение судьбу решит.  
Временем свет прошит.

Выйдешь во двор — и над крышей рябь.  
Черным — под крышей его окно.  
Перекури, воротник ослабь —  
если решения не дано.

Побестолковься в пустых дворах,  
чтоб рассмешил ширпотребный страх  
вдрызг на семи ветрах.

И укротила вода свой бег  
там, где гнездится подзвездный смех.  
И не грозит ночлег.

На ерунду не держи души —  
что ее без толку кантовать.  
Вещи безвременья хороши:  
лавка сподручнее, чем кровать.



Крашенная барышня в авто.  
Бешеная радуга в очах.

Скорость — все. Сознание — ничто.  
Есть педаль, баранка и рычаг.

Есть невроз, мигрень и аднексит.  
И мороз по коже от удач.  
И опасность в воздухе висит —  
хоть гони неистово, хоть плачь.

От нее никак не убежать.  
Хоть куда рычаг переключи —  
пламенеет жуть и благодать —  
не сгорает радуга в ночи.

Хоть куда баранку поверни —  
впереди одна и та же ночь.  
Но сигналият встречные огни:  
понапрасну тачку не курочь.

Понапрасну душу не трави —  
дорожает к осени бензин —  
при бесценной к скорости любви  
не оценишь новых лет и зим.

В нынешнюю канешь колею,  
в темноте растаешь без труда...  
Но «люблю, люблю, люблю, люблю»  
шепчет вертихвостка в никуда.



Поступь дворника дюжего  
тяжела по ледку.  
Снега вольное кружево  
оттеняет строку.

Оттесненные в крошево  
отвердевшей воды,  
жухнут дня непогожего  
штормовые следы.

Изоконный, обыденный,  
до последнего наш,  
краем глаза увиденный,  
присмиривший пейзаж.

Где разряды истрачены  
среди эпических туч  
и от нищенской всячины  
сумрак светел и жгуч.

И в распаде на частности  
жизнь мгновеньем красна —

даром в присной неясности  
подступает весна.

Все по новой закрутится,  
развернется сполна —  
ожиданье, распутица,  
грязь на все времена.

Бесконечное марево  
вольнодумцу родней,  
чем слеза государева  
при скончании дней.

И решетка увечная  
на воротах двора —  
точно доблесть заплечная  
из дурного вчера.



Где оформляется веселый формалин  
в черты медички у вечернего окна,  
мерцает уголь мертвеца, неутолим,  
чтоб тень и здесь была длиной наделена.

Блефует лампа над коробкою конфет  
и пухлым атласом с устройством рук и ног,  
чтоб нежил головы токсический эффект  
и оживлял давно почившего как мог.

Фосфоресцируют косые живота  
у перепутий препарированных жил,  
чтоб синим пламенем горела нищета  
и бог на бедность оболыщенье одолжил.

По этой черной развороченной руке  
блажному цинику грешно не погадать,  
как он прошествует с подругой налегке  
до той страны, где мнятся тишь и благодать.

Но даже фильм про анатомию любви  
в слезоточивом пересказе не сумеет  
ему представить ясноглазой визави,  
поскольку между — обязательная смерть.

Лишь сквозь нее, лукавотелую, одну  
и проступает ослепительный зачет —  
ведь если тень имеет форму и длину,  
то время праха только завтра потечет.

И загустеет формалиновая мгла,  
и опустеет взгляд товарки у двери,  
что без ошибки выбрать сладости могла —  
поди о горьком только с ней заговори.



*Л. Ш.*

С ходу известия ранили.  
Но проходило само.  
Кажется, где-то в Израиле,  
как сообщало письмо.

И безо всякой истерики  
предполагалось вдогон,  
что и в Латинской Америке  
мог успокоиться он.

Да и Европа не выпала  
из бесполезной игры —  
крови как следует выпила,  
вымела в тартарары.

То возносясь, то пикируя —  
нравом то камень, то шелк —  
всласть помотался по миру и  
по миру после пошел.

Нищий, на голову раненный,  
нес по фейсбуку пургу  
с филадельфийской окраины  
в тающем робком снегу.

В беспроводном измерении  
на виртуальных путях —  
о суете и старении,  
существованье в натяг.

Волны полночного рвения  
лезли на север и юг.  
Веры в его сокровения  
не было ни на понюх.

Только тире между датами  
преображает слова...  
И на разъятые атомы  
рушится тень волшебства.



Если в трубку откликнется мама,  
то проступят, тебя не спросясь,  
огоньки стадиона «Динамо»,  
раздевалок веселье и грязь.

Городского катка зазеркалье,  
из динамиков — юный Кобзон.  
И мельканье, мельканье, мельканье —  
и нельзя, и стоять не сезон...

Зритель праздника в варежках мокрых,  
притязания вышли в тираж...  
Переплески кармина и охры —  
удивительный выигрыш наш.



Что за манера кричать во сне,  
тряпки выкидывать по весне,  
по бездорожью шататься властью,  
взять и до осени запропасть?  
Вдруг объявиться, затеять пир,  
пасть на кушетку без задних ног,  
старые сны засмотреть до дыр.  
И не отчаяться, видит бог.  
Шарит луна по твоим лесам,  
блики крадутся по волосам.  
И занимается над тобой  
пламень забвения, невесом.  
Прежние люди идут гурьбой,  
переполняют собою сон,  
все норовят отворить сезам —  
все по глазам прочитав как есть —  
бомж, негодяй, утешитель вдов.  
Только куда им такая честь.  
Сочен рассвет и почти бордов.  
Ты неумытая наяву.  
Ставить ли пришлое во главу  
снятого за гроши угла?  
Я здесь работаю и живу.  
Скоро рассеется эта мгла.



*Л. С.*

Сумочка в частую крапину.  
Беличьей шубки разлет.

Слушала, помнится, Апиனு.  
Знала все-все наперед.

Честные-честные с искрами  
до помрачения жгли...  
Как обожается исстари,  
что растворилось вдали!

Фортели за полночь, в черную  
кровь загонявшие муть.  
Дерганья крашеной челкою, —  
«Перечеркни и забудь».

Давешней песенки каверза,  
полузабвения мга.  
Нерастворимого абриса  
выкройка вся недолга —

росчерки смеха и вызова  
в крапчатом брезжат снегу,  
дамского шлягера сызнава  
опровергая пургу.



На домашний наткнуться, случайно припомнить год,  
шалой кровью вынесенный в расход.  
И набрать второпях, да видно сменился код.

Или номер сменился, а может быть — божий мир.  
Диск скрути, мобильник протри до дыр —  
разве это преобразит эфир,

всю его прогорклость и немоту —  
просыпаясь в обморочном поту,  
эту цифру обдумываешь и ту.

Станный ряд, бесполезный набор, дурдом.  
Жизнь в разбег, оставленная на потом, —  
не наешься воздуха сохлым ртом.

Что наждак какой шерудит в груди!  
Сколь цифирь как отче наш ни тверди —  
тьма едва ль расступится позади.

Но когда вдруг воскликнешь: «Алло, алло!»  
временам и таким, и сяким назло, —  
догадаешься, что тебя в них спасло.



во сне сознание колеблется  
в оконце зыблется весна  
ужели ты монада лейбница  
чья степень яви неясна

о эти перлы метафизики  
в преддверье первого луча  
что детства праздники и финики  
что неба прошлого парча

но аналогий траектории  
родней страдальцу от ума  
в неукоснительной теории  
а здесь безумная зима

а здесь иголками дырявится  
ночного опыта кора  
и близорукая упрямица  
без спросу курит на ура

сквозного дыма энтелехия  
течет по млечному пути  
и вместо логоса элегия  
и слов слезам не обойти

и свет застыл и время замерло  
и вся навечно из вчера  
по философии экзамена  
в мозгу засела немчура

сосновый абрис умирающий  
твоих конспектов дело швах  
но не пора но не пора еще  
что нам до опыта в словах



Помедлю и вспомню: здесь лыжная база была.  
Знакомая фраза — снега не сгорают дотла.

Законное право сморгнуть дармовую слезу.  
Снег слева и справа, и там под уклоном вниз.

Привычное дело сырым утешаться снежком,  
по старой лыжне не спеша пробираясь пешком.

Вот здесь сапожком ты стряхнула леденицу вниз.  
Пешком, не на лыжах — не правда ли странный каприз?

И вся из капризов, в морозном пропала дыму.  
И тот инвентарь я теперь напрокат не возьму.

А впрочем, и прежде не слишком-то брал напрокат.  
Подошвами с горки нелепо скользил наугад.

И все повторял: «Что за глупости? Что за беда?»  
И слышал в ответ: «Не люблю. И оно навсегда».



Лишь вскользь отразила витрина  
намеренно резкий прищур —  
Весь облик остался внутри, но  
и этого мне чересчур.

Бестолошность рыбьего меха,  
короткий простуженный смех —  
лукавоголосое эхо  
сквозь неумолкающий снег.

Он валит отвесно и щедро,  
живою водой напоен...  
И мертво смеркаются недра  
пронизанных светом времен.



вели окрестные печали  
через воскресный гастроном  
стоять велели на причале  
строкой в сценарии дрянном

все эти кадры птиц и ветра  
сакраментальная нуда  
непотопляемое ретро  
осатанелая вода

в непрезентабельном пейзаже  
как атрибуты мелодрам  
сквозили счастья и пропажи  
с грехом и смехом пополам

и на исходе половины  
жизнь оставляла на потом  
успения сороковины  
развилки во поле пустом

и опоздания некстати  
и ожидания всерьез  
их пруд пруди в кинопрокате  
для режиссера не вопрос

пустопорожняя надсада  
испепеляющая страсть  
от мора здешнего и глада  
за океаном запропасть

тесны леса поля и реки  
ясны тунгус калмык и финн  
но на причале человеки  
еще доигрывают фильм

глядят и видят сквозь друг друга  
как отраженья шевеля  
вся в елисейские округа  
переселяется поля



Шум в Первомайском драного шапито  
перекрывает ропот широких крон.  
Пуля за пулей идет в молоко, в ничто,  
шатким животным не нанося урон.

Пенятся листья как пиво окрест ларька,  
лезут по форточкам ближних к нему квартир.  
Жизнь студизуса, как ни крути, горька —  
разве что цирк, шалманчик да старый тир.

Сад оголтелых, но колдовских причуд,  
майских претензий выдюжить диамат —  
там лишь хвостисту истому по плечу  
определить, в чем соль и кто виноват.

Впрочем, ему и прочее нипочем —  
все веселуха перцу, все до и по —  
даром, что предки поедом — стань врачом.  
Или завидней гайки крутить в депо?

Чопорный Гегель, яростный Фейербах  
машут Асклепию из-за своих словес,  
чтобы гороховый нежился на бобах  
шут с чумовой воздушкой наперевес.

Чтобы кабан по проволоке скользил,  
чтобы коверный пьяную тер слезу,  
чтоб и впустую не убывало сил  
вышнему шуму радоваться внизу.



уже и не вспомнить навскидку  
в котором к примеру году  
стряхнули никитку как нитку  
тишком с рукава на ходу

когда передумали реки  
на север по-старому течь  
когда в пиджаках человеки  
с трибуны корючили речь

когда была снова здорова  
впотьмах транспарантов заря  
и супились танки сурово  
на дне выходных ноября

и сердце колесная белка  
в бутылочном счастье снов  
насилу держалась как целка  
когда у ворот сердцелов

и позже когда отворили  
и дальше когда понеслось  
когда уже было не в силе  
не пелось ему не спалось

парадные числа забылись  
любимцы в парадных спились  
прицелы у техники сбились  
рога недотрог расплелись

обратное зренье что дышло  
и то оно правда и то  
и что же из этого вышло  
коню по фасону пальто

судить своему перепало  
копытиться фыркать нудить  
хватило ему или мало  
ему самому и судить